

МЕСТО ДОСТОЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА

Роль Достоевского в развитии русской литературы определяется тем, что он самый идеологический классик. Он живет внутри идеологических течений времени и выверляет их им самим разработанным масштабом. В основе его — все тот же идеал всеобщей правды, но, разумеется, со своими особыми предложениями к его осуществлению. Этот идеал вступает в ожесточенное противоречие с конкретным течением мировой истории, переживавшей стадию буржуазного развития; но он не сгибается, а, напротив, развертывает все новые аргументы и возможности.

Отличие Достоевского от других русских классиков, развивающих идеал, его главное достижение и нововведение — в способе борьбы. Если попытаться передать одним словом избранный им метод в столкновении с сопротивляющимися или враждебными (по его мнению) идеалу силами, можно назвать это так: включение. Гоголь пытается видящегося ему зло связать, заковать и покорить; Толстой — раздвинуть изнутри добром и отбросить; Достоевский — принять в себя и растворить. Эту способность, как бы через голову других, он наследует прямо от Пушкина.¹ Однако у Пушкина противостоящие начала, хотя и четко различаются, выступают в перазорванном и действительно неизвестно чем просветленном единстве (тайна его остается неразгаданной). Достоевский имеет уже дело с так далеко разошедшимися силами, что признать между ними нечто общее невозможно. Тем не менее, обнаружив противника и двигаясь ему навстречу с явным намерением столкновения, он вдруг вступает с ним в активное «братанье».

В спор современных ему направлений и групп это вносит путаницу и сочувствия не вызывает. Однако Достоевский преследует во всем этом свои далекие цели. Его интересует момент истины в каждой большой идее (или лице). Нащупав эту точку, откуда они, по его мнению, отклонились, ушли в заблуждение, но еще признают ее своей, он со всей силой устремляется туда,

не обращая внимания на возражения иных уровней или враждебность. Характерна записка для себя, передающая его отношение: «Вы хоть шут и повсюда, но вы честны и в основании верны» (20, 155). Слово «основание» — ключевое. Необходимо добраться до точки схождения и оттуда выйти к общей дороге.

Но поскольку точка эта расположена часто слишком глубоко, или потеряно вообще представление, что она может существовать, его встречает поначалу круговое непонимание. Неожиданное движение навстречу «тьме» принимается прогрессивной критикой, привыкшей к ясно распределенной борьбе, за предательство или служение болезни. «Что-то чудовищное», «жесточкий талант», «с любовью обрисованное безобразие» и т. д. С другой стороны, «тьма» начинает думать, что ее оценили и явился наконец смелый истолкователь ее параметров. Заслышав эту возможность, к нему начинает стекаться издалека действительно мировое безобразие, надеясь получить здесь центр и оправдание. За существом всего этого вокруг Достоевского и в составе его образов трудно бывает его направление разобрать; его подлинная идея для окружающих сильно затемнена.

Самого писателя, однако, это не смущает. Скорее, его можно заподозрить во мнении, что так оно и нужно, что это единственная возможность продвинуть в его условиях высокий идеал. «Но не ожидайте — о, не ожидайте, — пишет он И. С. Аксакову, — чтоб Вас поняли. Нынче именно такое время и настроение в умах, что любят сложное, извилистое, проселочное и себе в каждом пункте противоречащее... Мертвец проповедует жизнь, и поверьте, что мертвеца-то и послушают, а Вас нет» (II, IV, 217). Уверенный, видимо, что этим чрезвычайно опасным и перспективным «живым трупам» жизнь лучше, чем обыкновенным людям, у которых она «и так есть», он вступает в общение со всеми стадиями и формами омертвения, стараясь рассосать их, растворить, повернуть снова к жизни.

Нужно признать, что эта позиция в мире является уникальной. В такой последовательности и упорстве проведения она не встречается не только в русской классике, но и в мировой литературе вообще. Говоря о ней, мы имеем, конечно, в виду идеальный образ Достоевского, а не его реальные срывы. Этот образ был в нем безусловно сильнее его страстных ошибочных увлечений, неудач, художественного несовершенства, так как постоянно опирался на переализованный пародный идеал. Сам он так и призывал относиться к народу: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что считает прекрасным и истинным» (24, 147). Задача была в том, каким путем это «прекрасное» осуществить. Достоевский избирает путь непредвиденный и страшный: объединение с никакомыслящим; через спрятанную в нем часть истины — к целому.

На симпозиуме Общества Достоевского в Бергамо в августе 1980 г. был обозначен доклад «Достоевский — новый Сократ». Нам не довелось его слышать, но если судить по теме, обосно-

¹ О переориентации Достоевского — через Гоголя и Пушкина см.: Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь: «Станционный смотритель» и «Шинель». — В кн.: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969; Кириотин В. Я. У истоков романа-трагедии. — В кн.: Достоевский и русские писатели. М., 1971.

ваше поставленной, аналогия эта не может быть полной. На близость Достоевского «сократическому диалогу» указал уже М. М. Бахтин.² Однако и он, называя источник и, естественно, выделяя черты общности, оставил (здесь) в стороне особенность Достоевского, отметив лишь, что в «сократическом диалоге» еще не было отделено понятие от образа. Между тем сама позиция Достоевского в споре была принципиально иной. Сократ прославился, насколько это видно из Ксенофонта или Платона, путем вскрытия ошибок и пеленостей в первоначальной мысли собеседника и приведения его к своей, пока тот, изумленный, не воскликнет: «Клянусь Зевсом, Сократ, ты прав!». Метод Достоевского едва ли не противоположен. Он исходит из того, насколько его собеседник был прав; причем не какой-нибудь плоской правдой, а новой и важной для Достоевского самого, и отсюда старается двинуться дальше вместе, сообща, предостерегая от неслучаев. К этому движению признаются все, независимо от уровня, разработанности языка или степени заблуждения. Наверное, это один из самых демократичных в мировой литературе способов общения.

Как социальная программа этот способ выглядит безнадежной утопией. Но в раскрытии далеких целей развития, в соотношении конкретных возможностей истории с фундаментальными ценностями жизни и в создании совершенно новой атмосферы общения, где должен был прокладываться своя трудная дорога действительно общий идеал — атмосфера, которая обеспечивается прежде всего его собственной новой художественной системой, — Достоевский добивается ни с чем не сравнимых успехов.

Он вбирает при этом, как писатель наиболее общительный и внимательный к другим, опыт русской литературы в целом, ее главные ценности, и представляет даже от лица тех, с которыми состоит по видимости в непримиримом конфликте. Наши литературоведение и критика последних десятилетий убедительно показали глубокую неотделимость Достоевского от лучших, передовых традиций русской литературы, точнее — решающую зависимость его от этих традиций.³ Это сказывалось даже в моменты самой острой текущей полемики, разводящей писателей по разным лагерям.

Вспомним только отношения Достоевского с ближайшим, кажется, сподвижником Н. Н. Страховым. То он начинает ему доказывать, что пириетический свист полезен и, отодвигая потрясенного в сторону, сам берется «свистать», то уверяет, что «До-

бродяков правее Григорьева в своем взгляде на Островского» (Н. П., 187), т. е. более прав и т. ц. Среди его единомышленников это значило почти что почитать все самое священное, и мы знаем, что для него лично это ничем хорошим кончиться не могло. Как будто припавшая у Достоевского эту черту и в своих первоначальных воспоминаниях даже называя ее «широкостью (...) сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды», — но и оговариваясь, что «слишком он для меня близок и пещоштен»,⁴ — Страхов, как известно, в конце концов все-таки не выдержал: разъяснил для себя эту непонятность изначальной порочностью Достоевского, стал убеждать Толстого, какой это был низкий человек, и выпустил слух о совершенном им преступлении, на целый век дав лицу любителям сочетать «гений и злодейство».

Или прямой пример отношений с Добролюбовым. При явном противостоянии, какое движение Достоевского ему навстречу! Вся сила статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве» в том, что Достоевский неожиданно переходит на точку зрения оппонента, чуть не полностью ее принимает. Он соглашается, присоединяется, дает свои подтверждения и говорит: пойдём дальше, дальше.

Куда — другое дело. Подтягивать Достоевского к революционным демократам у нас нет никаких оснований. Но его способность поднимать во взаимодействии с ними истину, раскрывать и расследовать ее в непредвиденном объеме в постоянное время не вызывает сомнений. В специальной монографии В. Я. Кириотин показал, какой источник понимания открывается для нас, например, в теме «Достоевский и Белинский», когда мы глядим на этих мыслителей вместе, несколько их не соединяя и не поступааясь принципами.⁵ Картина их спора, где эти столь, кажется, похожие, но разрозненные натуры, словно мещаясь местами, развивали фундаментальные ценности жизни, позволяет теперь эти ценности намного глубже понять, а главное, спимая частности, видеть их перспективу сегодня.

Более широкое и объективное рассмотрение выясняет также, что многие собственно художественные открытия Достоевского, приписываемые иногда исключительно ему, принадлежат магистральной традиции русской литературы в целом. Они возникают во взаимодействии этого самого «коллективного» из русских классиков («соборного», на языке славянофилов) с другими.

В частности, развитие художественных возможностей идей, усвоение их литературой, возвращение им «человеческой природы», что безмерно обогатило их смысл и продвинуло художественный образ к неизвестным ранее рубежам, было совершенно Достоевским совместно с Белинским, при его прямом соучастии и решаю-

² Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 145—150.

³ См.: Храпченко М. В. Достоевский и его литературное наследие. — Коммунист, 1971, № 16; Сучков В. Л. Великий русский мыслитель. — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., 1972; Фридландер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979; Кириотин В. Я. Мир Достоевского. М., 1980; Селезнев Ю. И. В мире Достоевского. М., 1980; Ф. М. Достоевский и мировая литература: Беседа в редакции. — Иностран. лит., 1981, № 1 и др.

⁴ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883, разд. 1, с. 186.

⁵ Кириотин В. Я. Достоевский и Белинский. 2-е изд. М., 1976.

цем вкладе Белинского в возникновение самого этого типа сознания.

Если младший брат писателя Андрей вспоминает, что «брат Федор (...) был во всех проявлениях своих — настоящий огонь, как выражались наши родители», что он «был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения (...) отец неоднократно говаривал: „Эй, Федя, уймись, не одобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!“»,⁶ то эта черта (несколько не угасшая, а лишь усилившаяся у Достоевского впоследствии) была, несомненно, вписана в идейную атмосферу времени Белинским, прямо воспитана им.

Знаменитое описание Герценом Белинского в споре («Как я любил и как жалел я его в эти минуты!»)⁷ есть, в сущности, описание Достоевского, каким его знали люди той поры: «... для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков страстная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие».⁸ Серьезность в отношении к идеям, готовность, убедившись, идти с ними до конца, восприимчивость от Белинского, развились в Достоевском в такой степени, что ими, кажется, лучше можно было бы объяснить его прыжки, историю его болезни, которая столь привлекает «клинических» истолкователей его творчества и при которой он был, однако, поразительно духовно здоров. Взрывы и разряды терпеливых убеждений, не умещающейся в нем энергии, навсегда остались отличительной чертой его облика.

Копечно, у его близости с Белинским были общие социальные причины. 40-е гг., время выхода в литературу новых общественных сил, рождения «педваранской» литературы, соединили их судьбы. Оба — сыновья «штаб-лекарей», оторвавшиеся от семьи и прочного социального наследия, дети города, тогда еще нового, увлекающиеся студенты и одновременно люди, протрезвленные бедностью от многих прекрасподушных влюблений... Но Белинский был не просто на десять лет старше, он был настоящий отец этой атмосферы, ее «формирователь».

Личность Белинского создала духовный тип, вовлекший в свою орбиту Достоевского и повлиявший решающим образом на его художественную систему. Это было продвижение жизни в мысль, перестроение мысли по законам и «логике» жизни, бесстрашие в доведении каждой идеи до ее последствий в точно пайдепном образе и нравственном выводе. Ни в какое сравнение с ним не идут предшествующие ему типы отношений с идеями: обесцененные мечтания, разработка последовательного мировоззрения с выездами за границу, как у Киреевского, Стапкевича и

других, или подчинение образа идее, как у Рыльева; пет — именно переход жизни со всеми страстями в идеи, переселение туда, и их бескомпромиссная взаимная проверка при абсолютной правдивости и невозможности умолчаний (ради абстрактно понятного единства).

Усвоив этот тип, Достоевский уже не мог поработиться никакой мыслью, при невероятной способности развернуть ее в полной паглядности и убедительной силе. Это делали его неудачные поклонники, готовые по разным причинам отождествить себя с ней, получив додуманную за них до конца Достоевским формулировку, как правило, поражающую своей точностью (в рамках данного взгляда).

Для Достоевского любая мысль или идея — средство постижения громадного целого, «нравственного закона», смысла истории. Идеи — пути к этому целому, они новые обстоятельства жизни, среда обитания.

Пропустить эту разницу, повторим, очень легко, потому что среда в противоположность прежним временам сама заряжена смыслом, постоянно претендует (и не без основания) его выразить. Она насыщена мыслью, просветлена и вовсе не составляет, как раньше, простого предмета для размышления. Не нетрудно принять за мысль самого Достоевского, тем более при его способе общения (о котором говорилось выше), когда он сознательно идет на сближение с ней, увлекает в движение к истине.

Возможно, поэтому он самый обманчивый из русских классиков в его успехе «на мировой арене». Как это ни парадоксально звучит, его слава здесь во многом ошибочна, — со стороны тех, кто ее наиболее активно продвигал. Она абсолютно подлинна, конечно, там, где разворачивается скрытый за всеми подобными восприятиями план; но до тех пор и в той мере, пока они господствуют и ее ведут, за Достоевского принимают отпущенные им на свободу исследования идеи, с конечной дерзостью высказывающие друг другу свой «аргумент», а не сам Достоевский. Красочность и новизна этих аргументов собирают вокруг себя изумленных родственников им идеологов, выявляя неизвестные в их собственной мысли потенции; все это они соединяют под знамя «Достоевского», — не видя (не желая или не в состоянии видеть), до какой степени оно предусмотрено и куда на самом деле Достоевский их направляет.

Типичен Андре Жид. С 1908 г., т. е. со времени своей статьи о письмах Достоевского, он активно пропагандирует Достоевского на Западе. Как литератор высоко профессиональный, он оставляет немало ценных наблюдений о стиле Достоевского, особенностях его художественной манеры в сравнении с классиками литературы на Западе, даже в соотношении с Пушкиным (предисловие к новому переводу «Пиковой дамы»)⁹ Но что им приятно

⁶ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, разд. 1, с. 26.

⁷ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1936, т. 9, с. 31.

⁸ Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, разд. 1, с. 90.

⁹ Жид А. Собр. соч. Л., 1936, т. 4, с. 444—447.

за главное в Достоевском? Абсолютная свобода воли, провозглашаемая рядом персонажей, независимая личность с непредусмотренными возможностями (открытые которой, в отличие от прежнего *литературного типа*, А. Жид приписывает исключительно Достоевскому, митцу Толстого). И вот являются положительные герои А. Жида: Мафкадио Влупки из «Подземный Ватикана» (1914), который, освобождаясь от «пут традиции», вдруг сталкивается со ступеньки вагона на ходу поезда незнакомого ему человека; Бернар Профитадье из «Фальшивомонетчиков» (1926), испытывающий все виды пороков, и т. д. Обосновывает их вывод из «Лекций о Достоевском» (1922): «... в этом физиологически ненормальном состоянии заключен своего рода призыв к восстанию против психологии и морали стада».¹⁰ Иначе говоря, то, о чем Достоевский сумел предостеречь, считает себя, явившись, продолжением его мысли.

Несколько раньше то же самое происходит с Ф. Ницше. Недавно опубликованные его записки при чтении «Бесов» снова напоминают, с какой глубиной и силой его излюбленные идеи были исследованы раньше него Достоевским, — признаны во всех возможных исходных крупницах правды, но тут же и опровергнуты, включенные в совсем иной состав, чего сам Ницше не в состоянии был понять, продолжая «психологические» открытия «предшественника».¹¹

С какой-то стороны эти ошибки объяснимы. Доводы «распада» раскрыты Достоевским часто в такой картинности и полноте, как они сами далеко не всегда умели или решались высказываться. Одни только «Записки из подполья» есть в этом смысле целый компендиум будущих мировых заблуждений, — безусловно искренних, и большого масштаба, так что быть задним числом «умнее» их не каждому и удобно: для этого надо было бы показать, что видел их «с самого начала». Тут есть и Кафка: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться пасекомым. Но даже и этого не удостоился» (5, 101); т. е. Достоевский сразу же говорит, что существует кое-что похуже «Преображения», объясняет почему, но и на этом его «подпольный» не останавливается, себя опровергая: «Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучшее, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду! К черту подполье!» (5, 120).

И — фрейдистские вариации на тему, что «всякое сознание болезнь» (5, 102), и предсказание о «ретортном человеке» — что «скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи» (5, 179), и явление — с самым этим словом уже, термином — «антигероя» (5, 178) и т. д.

¹⁰ Там же. 1935, т. 2, с. 423.

¹¹ См. об этом: Фридаендер Г. М. Достоевский и Ф. Ницше. — В кн.: Фридаендер Г. М. Достоевский и мировая литература. М., 1979, с. 214—255; Давидов Ю. П. Два понимания нигилизма (Достоевский и Ницше). — Вopr. лит., 1981, № 9, с. 115—160.

Однако заблуждения есть заблуждения, и оставаться в пределах их «логики» в настоящее время уже невозможно. Это мешает видеть объем и цели мысли Достоевского. Непреодоленная инерция такого подхода, давая о себе знать даже в литературоведческих работах высокой квалификации, может останавливать анализ там, где он только должен был бы начаться.

Например, при рассмотрении современного итальянского романа и ведущихся в нем споров: «Происходит важный разговор между художником и доном Гаэтано. Художник произносит такие слова, как „справедливость“, „вина“, „дискуссия вины“». Священник решительно возражает. Самая древняя и распространяемая ошибка в христианском мире, говорит он, заключается в мысли, будто Христос хотел пресечь зло: „Говорят: бог не существует, следовательно, все дозволено“. Никто никогда не пытался совершить маленькую, простую, банальную операцию: видоизменить эти великие слова. „Бог существует, следовательно, все дозволено“. Никто не попытался, повторю, кроме самого Христа. И вот что такое христианство в глубокой своей сущности: все дозволено. Преступление, боль, смерть — вы думаете, они были бы возможны, если бы не было бога? Дон Гаэтано отрицает смысл и ценность понятий: „лучший, худший“; „справедливо, несправедливо“; „белое, черное“. Мы понимаем всю степень влияния Достоевского, хотя Шама не называет его имени».¹²

Но в такой интерпретации писатель (Леонардо Шама) остается на «степени влияния» персонажей, а не самого Достоевского; Достоевский разницы между «белым» и «черным», конечно, никогда не терял.

Правда, после выхода второго издания книги М. М. Бахтина¹³ явилось искушение рассматривать Достоевского в виде ряда рассыпанных и независимых «точек зрения» на мир. Активное и перформальное понимание истины стало восприниматься иногда как возможность избавиться от объективной истины вообще; была даже предложена философия — с готовностью сменить «логику» на «диалогичку».¹⁴ Однако подобные толкования, как скоро выяснилось, противоречили концепции Бахтина; они уводили от Достоевского к его наименьшему противнику — релятивизму в истине и морали. Вместе с тем они показали, какую реальную сложность представляет для исследователя постоянно сцепленная и борющаяся («весь борьба», — говорил Толстой) со своей противоположностью мысль писателя. Достоевский, если воспользоваться византийским термином, располагается, как некий «акрит», у самых границ идейного пространства русской литературы; в отличие от «акрита» ему эти границы сами по себе не важны.¹⁵

¹² Кин П. И. Вся литература — роман. — Вopr. лит., 1975, № 10, с. 132.

¹³ Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963.

¹⁴ См. об этом: Кожин В. В. Предисловие к публикации плана разработки книги М. Бахтина. — В кн.: Контекст-1976. М., 1977.

¹⁵ «Мы не считаем национальность последним словом и последнюю целью человечества» (20, 179).

но важен и *непреложен* развиваемый русской литературой идеал общедельной правды; здесь идут непрерывные столкновения, заключаются союзы, происходят встречи и переходы — в разных направлениях и с разными целями. Необходима особая четкость и внимательность, чтобы не потеряться в этом внешнем беспорядке и простоте.

Судьба Достоевского в литературе продолжает оставаться нелегкой. Его признание со стороны того, чему он беззаветно (без преувеличения) служил, постоянно осложнено его общением с «другими»; его правда пробивает себе дорогу тяжело и медленно, окруженная неправдой, которую он стремится поглотить. Но с каждым новым поворотом истории он находит себе новые подтверждения и воссоединяет с общей правдой русской литературы далекие, косые или противопоставленные ей начала. Он остается поэтому на всех ее этапах писателем спорных возможностей, исправляемых, изменяемых, но и набирающих силу с течением времени. Это и предсказал в 1846 г. Белинский: «Его талант принадлежит к разряду тех, которые постигаются и признаются не вдруг. Много, в продолжение его поприща, явится талантов, которых будут противопоставлять ему, но кончатся тем, что о них забудут именно в то время, когда он достигнет апогея своей славы».¹⁶

¹⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955, т. 9, с. 566.

И. А. КОШЕЛЕН, А. В. ЧЕРНОВ

ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А. Ф. ВЕЛЬТМАНА И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Произведения Ф. М. Достоевского, появившиеся сразу после «Бедных людей», были приняты современной критикой весьма пастороженно. Общій восторг, вызванный первым романом, скоро сменился «неприятным изумлением» (Белинский). В «Двойнике», «Господине Прохарчине», «Хозяйке» первые критики находили впечатление «самого неприятного и скучного кошмара», чего-то «темного, многословного и скучноватого», «допотопный язык», нарушение «приличия» и т. д.¹ Такая едиподушная реакция современников на произведения Достоевского 1846—1849 гг. объяснялась отходом молодого писателя от привычного метода изображения действительности, поисками нового способа постижения жизни и человека. Поиски эти оказались непопулярными для читателей, но важными для автора. Уже в ранних произведениях Достоевский отходит от «физиологического» восприятия мира. Перенесение акцента на внутренний мир, психологию человека требовало нового метода изображения действительности, который еще не был разработан в литературе 1840-х гг. В связи с этим встает вопрос о генезисе художественного метода Достоевского, о том его «предтече», который мог дать первый толчок к зарождению этого метода.

Еще В. Ф. Переверзев предложил считать таким «предтечей» одного из представителей философско-интеллектуальной прозы 30—40-х гг. А. Ф. Вельтмана. «... В творчестве Вельтмана, — замечает Переверзев, — мы имеем младенческий лепет того художественного стиля, в котором строил свои произведения гениальный мастер авантюрно-психологического романа Достоевский».² Под «стилем авантюрно-бытового романа», который «таил в себе глубокое социальное содержание», Переверзев понимает новые черты индивидуального художественного метода Вельтмана, сказавшиеся прежде всего в изображении человека: «В Дмитриидном Вельтмана потенциально таится Раскольников, а в Саломее —

¹ См.: *Замотин Н. И.* Ф. М. Достоевский в русской критике. Варшава, 1913. Ч. 1. 1846—1881, с. 22—32. См. также характерный отзыв К. С. Аксакова, противопоставившего «Бедных людей» остальным произведениям Достоевского (в письме к Ю. Ф. Самарину: ЦГАЛИ, ф. 40, оп. 5, ед. хр. 33).

² *Переверзев В. Ф.* У истоков русского реалистического романа. М., 1965, с. 215.